

**Екатерина II. Собственноручные записки императрицы Екатерины II.
Сочинения Екатерины II // Сост., вступ. ст. О.Н. Михайлова. — М.: Сов. Россия,
1990. — 384 с., 1 л. портр.**

С. 22–26.

Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

Качества и характер будут большей посылкой;
Поведение — меньшей;
Счастье или несчастье — заключением.
Вот два разительных примера:
Екатерина II,
Петр III.

ПЕТР III.

Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела¹ его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл-Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый², малорослый, хилый и бедный (смотри «Дневник» Бергхольца в «Магазине» Бюшинга). Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекского, герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое — Адлерфельдт, автор «Истории Карла XII», и Вахтмейстер, были шведы, а двое других¹, Вольф и Мардефельд, голштинцы. Этого принца воспитывали ввиду шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца^{II} ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С десятилетнего возраста^{III} Петр III обнаружил склонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью.

¹ Его отец и мать

² Его опекун

^I Двор слишком большой для маленькой страны Голштинии. Партии этого двора

^{II} Молодой принц не любит своих приближенных

^{III} Его склонности к пьянству

Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один — Крамер, ливонец, другой^{IV} — Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданы принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол^I, императрица Елизавета послала в Голштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником^{II}. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно — великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника [предполагаемым] наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его^{III} достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог склонен к пьянству^{IV} и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.

Как только прибыл в Россию голштинский двор^I, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола; но Елизавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым

^{IV} Кого он любил более всего

^I Императрица Елизавета вступает на русский престол и вызывает своего племянника

^{II} Обвинения графа Брюммера в том, что он намеренно испортил ум своего воспитанника

^{III} Сомнение в подобной гнусности

^{IV} Что родственники принца-опекуна говорили между собой об его питомце

^I Шведское посольство, чтобы просить у императрицы отдать ее племянника. Ответ, который она дала этому посольству

наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел^{II} брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца). Итак, Петр III был объявлен наследником^{III} Елизаветы и русским великим князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него^{IV} требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец с большой горечью он покорялся тому^I, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных, вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких^{II} учителей: одного, Исаака Веселовскаго¹², для русского языка — он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого — профессора Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутком. Самым усердным учителем^{III} был Ландэ, балетмейстер, учивший его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящий детские игры и постоянное ребячество; вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло^{IV} шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9-го февраля в Москву^V.

С. 41.

В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем; все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но

^{II} Императрица была помолвлена со старшим братом принца-опекуна

^{III} Петр III объявлен наследником Елизаветы

^{IV} Споры Петра III со своим наставником

^I Он предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России

^{II} Каких учителей дали ему в России

^{III} Чем Петр III занимается в шестнадцать лет в своих покоях

^{IV} Приезд Екатерины II со своей матерью

^V Две партии при дворе

в самом деле он стал ужасен. 9 февраля минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 г. императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел семнадцатый год.

С. 51–52.

Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготавливалось к празднованию нашей свадьбы. Наконец 21-е августа было назначено императрицей для этой^I церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться^{II} ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей. Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камерфрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камерфрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить, или же я была на выходах. На третий день моей свадьбы^I, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцова прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы не каждый день видела, но которая очень смягчилась по отношению ко мне в это время.

С. 54–58.

Этому преследованию еще труднее найти основания. В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы, покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы; чтобы идти к нему или ему ко мне, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он и я делали этот путь много раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в его передней с обер-камергером Бергхольцом, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца^I, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали двор и весь город. Последний маскарад был дан обер-полицеймейстером

^I Свадьба

^{II} Предчувствие

^I Графиню Румянцеву увольняют от ее должности

^I 1746

Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом; середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа; в одном танцевали, но чтобы идти ужинать, нас заставили пройти, в январе месяце, через двор по снегу; после ужина надо было опять проделать тот же¹¹ путь. Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка; его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили. Ему было очень худо; ему не раз пускали кровь; императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, ко мне вошла госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в каком случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала: вечерние молитвы; она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт. После этого я попросила ее поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно, она пошла передать императрице мое поручение, а я — ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила. В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я тут была, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила; впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь совсем меня не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня не трудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась в первую неделю Великого поста; императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю; я велела ответить Ее Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь пост. Гофмаршал императрицы Сиверс, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает. Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня очень бранить; я сказала ему, что не могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем

¹¹ Великий князь схватывает горячку

на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было подымать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды¹ великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничный инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, — он в этот день принимал лекарство, — и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, который он так искусно проделал. Он сделал больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня испугала и возмутила его дерзость и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка его узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров; но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновенного; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица, с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении¹ в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видев ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и побежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем

¹ Безрассудство великого князя

¹ Гнев императрицы по этому поводу

сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном на половину смущенным, на половину насмешливым: «Она была точно фурия и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате.

С. 61-63.

Великий князь имел, при моем приезде в Москву, в своих покоях троих лакеев, по имени Чернышевых^{II}, все трое были сыновьями гренадеров лейб-компания императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными. Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди и, действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу, старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених». Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству, после нашей свадьбы, называть меня «матушка», а я стала называть его «сынком», но так как и между мною и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им, как зеницей око, и так как и я тоже очень его любила, то

^{II} *Особый анекдот*

мои люди забеспокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». — Ну, так что же, — сказала я в невинности сердца, — какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его также, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен. — «Да», ответил он мне: «это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказать больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди и, следовательно, Андрей Чернышев, как и другие. Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сиверс; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидела на противоположном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: — Скоро ли вернется императрица? — Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: — Этого-то я и не сделаю. — Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне.

С. 72–75.

Весною мы переехали на житье в Летний дворец¹, а оттуда на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чоглоков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа, который был туда же отправлен

¹ Князь Репнин удаляется

полковником по представлению Чоглокова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались уже раньше [например] в лице графа Захара Чернышева в 1745 г. по просьбе его матери; но все же на эти увольнения смотрели при дворе, как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для¹¹ этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Так как принц Август получил все, чего желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чоглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер-лакеев.

На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать; когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чоглоковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти: днем их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после ужина и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чоглокова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальни; ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули. Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чоглокову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чоглоковых, и также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко; то же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь таким образом всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за

¹¹ Принц Август уезжает

деревянной перегородкой, которая отделяла альков моей спальней от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе; так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны Его Императорского Высочества. 6-го января 1748 г. я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масленой при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальне; он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали. С наступлением поста от него удалили еще четверых лиц; в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду.

С. 89–90.

Вот что заставляло нас страдать: утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат (потому что у него больше не было) в другой; тех же собак, которые уставали или отставали, он строго наказывал, это заставляло их визжать еще больше; когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказывание собак, что мне поистине казалось жестоким. Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь спальни, в которой сидела и которая была смежной с той комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост. Это был бедный маленький Шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку изо всей силы толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его; жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души.

С. 96–99.

В¹ начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит; он больше не дрессировал своих собак, раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорченный вид, был задумчив и рассеян; он купил себе немецких книг, но каких книг? часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая — из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали. Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно

¹ *Беспокойство великого князя*

не долго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом, кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет. Наконец, однажды он мне открыл, что его мучило; я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере во время пребывания в Раеве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели; он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась; остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте. Чоглоков получил от обер-егермейстера, под предлогом развлечения великого князя, две своры: одну из русских собак и с егерями, другую из французских или немецких собак; к этой был приставлен старый доезжачий француз, мальчик-курляндец и один немец. Так как Чоглоков стал заправлять русской сворой, Его Императорское Высочество взял на себя иностранную свору, которой Чоглоков вовсе не интересовался; каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части, следовательно, Его Императорское Высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах, и наконец, коли пошло на чистоту, он связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними; на охоте он был всегда среди них. В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батулин, весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя, впрочем человек очень решительный⁹⁶. Не знаю, по какой случайности или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры, но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского; словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно. Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников; ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батулин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батулин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батулин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет. Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батулина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья. Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батулин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское. Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной компанией. Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое

действие. Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу, и что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего он прыгал от радости, успокоился, и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более, ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формозе, в Тихом океане.

С. 103-105.

В половине поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снега, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться, я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею, одним словом дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького уродя предпочитают мне. Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владислава сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбуницу предпочитают мне; я ей ответила: «что делать!», у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать, он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь и из-за всей этой истории и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного. На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал им по комнате направо и налево, и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях. Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, что с вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну,

может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в петергофском саду, расцарапала щеку до крови и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью и, когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало. В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и, когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю; Чоглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытрите щеку, на ней мазь». На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее». Тогда великий князь сказал Чоглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются, мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно». Чоглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз». Дело тем и кончилось, и великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чоглокове. Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили; он их любил и вдобавок они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре; итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему, я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к пасхальной заутрене и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мною случились; не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли; я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной, все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами; мне дали лекарство; я провела первые два дня праздника в постели.

С. 147-149.

Императрица отпраздновала день 1 января 1754 г.¹ в этом дворце, и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. За столом Ее Императорское Величество казалась очень веселой и разговорчивой. У подножья трона были расставлены столы для нескольких сот особ первых классов¹⁵. Во время обеда императрица спросила, что это сидит там за особа (она указала ее место) такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеей, как она выразилась. Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и, обращая ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу: шейка долга, на виселицу годна; я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой

¹ 1754

насмешкой, которая не пропала даром и которую придворные повторяли из уст в уста, так что, встав из-за стола, я увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, я и не подумала с ним об этом заговорить.

Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753 и 1754. Мне случалось неоднократно видеть из окон этих покоев Летнего дворца два, три, четыре и даже до пяти пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время масленой императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскарады. Во время одного из них я видела, что императрица имела длинный разговор с генеральшей Матюшкиной. Эта последняя не хотела, чтобы ее сын женился на княжне Гагариной, моей фрейлине, но императрица убедила мать, и княжна Гагарина, которой тогда было уже верных 38 лет, получила разрешение выйти замуж за Дмитрия Матюшкина. Она была этому очень рада, да и я также; это был брак по склонности; Матюшкин тогда был очень красив. Чоглокова совсем не переезжала к нам в летние покои: она осталась под разными предложениями со своими детьми у себя в доме, который был очень недалеко от двора. В действительности же, дело было в том, что эта женщина, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью к князю Петру Репнину и получила очень заметное отвращение к своему мужу. Она думала, что не может быть счастлива без наперсницы, и я показалась ей самым надежным человеком; она показывала мне все письма, которые получала от своего возлюбленного; я хранила ее секрет очень верно, с мелочной точностью и осторожностью. Она виделась с князем в очень большом секрете; несмотря на то, супруг ее возымел некоторые подозрения; один конногвардейский офицер, Камынин, возбудил их в нем впервые. Этот человек был олицетворением ревности и подозрения; это было у него в характере; он был старым знакомым Чоглокова; этот последний открылся Сергею Салтыкову, который постарался его успокоить; я отнюдь не говорила Сергею Салтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки; я разыграла из себя дурочку и удивленную и промолчала. В феврале месяце у меня появились признаки беременности. В самую Пасху во время службы Чоглоков захворал сухой коликой; ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась. На святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе; я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать в виду моего положения и в виду того, что у меня было уже два выкидыша; я была одна в своей комнате, когда Чоглоков прислал просить меня пойти к нему; я пошла туда и застала его в постели; он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидания с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на масленой, в один из дней придворного бала, он пришел к ней одетый арлекином, что Камынин его выследил; словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал.

С. 153–154.

В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты [такие же], как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые, хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то

же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи. Я очень страдала, наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая — в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов.

С. 155.

Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика.

С. 157–158.

Наконец великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елизавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом чернубурой лисицы; его покрывали стеганым на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом чернубурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом, пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что, когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы. В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла.

С. 159.

Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел ему сказать, что прежний охотник великого князя, Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на Шенке,

моей прежней камер-юнгфере, донес ему, что от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя. А этот Бастиан был большой плут и пьяница, покучивавший время от времени с Его Императорским Высочеством; поссорившись с Брессаном, которого он считал в большей милости у великого князя, нежели был он сам, он вздумал сыграть с ним злую шутку. Великий князь любил их обоих. Бастиан был посажен в крепость; Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Голштинию со своею женою, а Брессан сохранил свое место, потому что он служил всем шпионом¹.

С. 180–190.

Во время краткого пребывания княгини Голицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они, все либо наперсницы, либо любовницы великого князя, во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда также уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать. Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать и сказала, что, если они будут продолжать, я пожалуюсь императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались, но как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его Императорское Высочество взбесился и тотчас же прибежал ко мне. Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною, что с каждым днем я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а что я обращаюсь с ними, как с прислугой, и что, если я пожалуюсь на них императрице, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость, на мою злость и Бог весть, чего он тут мне наговорил. Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит, не благоразумнее ли выгнать всех этих девиц дрянного поведения, который своими сплетнями ссорят племянника с племянницей, и что, конечно, Ее Императорскому Величеству, дабы водворить мир и согласие между ним и мною, и чтобы ей не докучали нашими ссорами, нельзя будет принять иное решение, кроме этого, и что она непременно это сделает. Тут он понизил тон и вообразил, так как был очень подозрителен, что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам, чем показываю, и что их действительно могут прогнать из-за этой истории, и стал мне говорить: «Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят?» Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить его императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только на половину. В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за их глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город. Немного времени спустя кавалер Вилльямс отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России: на следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией; граф Бестужев получил приказание и полномочие заключить этот договор, и действительно договор был

¹ Конец вставки.

подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по случаю своего успеха, а на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о приступлении России к конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией. Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером, или казалось, что был обманут, но граф Бестужев сам уже не волен был тогда делать то, что хотел. Его противники начинали уже брать верх над ним, а они интриговали или, вернее, перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны — Шуваловы, а особенно Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло, в чем их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой мебелью, начинавшей надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю, своему любовнику. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унижить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом. Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понятовский вернулся в Петербург в качестве посланника¹ Польского короля. В эту зиму, когда начался 1757 г., образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила, вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя; ему помогало в этом большое количество голштинских офицеров, которых Его Императорское Высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере двух десятков, не считая пары голштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности все служили шпионами Брокдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренно сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела. Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Голштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Элендсгейма, мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. На это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать. На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила: «Кто его обвинители?» На это он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают; оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать, а как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком». Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распушит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря: обвинители и преступления найдутся после; вам советуют поступать, не взирая ни на вашу славу, ни на вашу справедливость, на манер «*Barbarie, mon ami*», как поется в песне. Кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить?» Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других». Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому, что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или

¹ 1757

иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый. Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне, Брокдорф скажет вам о деле Элендсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответила: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно». Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: «Говорите с великой княгиней». Брокдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: «Так как Ваше Императорское Высочество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней...» Тут он сделал паузу и затем сказал: «Это дело, которое требует, чтобы его вели с большей тайной и осторожностью»... Я слушала. «Вся Голштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Элендсгейма; правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно». Я потребовала у него подробностей об этом Лихоимстве и вымогательстве, и узнала, что никакого казнокрадства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько ни выставлял Брокдорф напоказ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил; я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить Его Императорское Высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения. Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах не трудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели. Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо, таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии; прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, Его Императорское Высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного Шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия; несмотря на то однако побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления Шведского принца; эта комиссия действовала вначале с большою энергией, открыв свободное поле доносчикам и однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи; а между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, к каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не кончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила не мало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле. Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом, а Брокдорф, с очерстневшим от злобы сердцем, ума очень ограниченная и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов; но когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне

внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу, наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Элендсгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять акушерки, служившей мне, уведомил меня об этом; партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Голштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование. Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа, как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно; что я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, который мне внушило поведение этого человека; не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом. Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «баба-птица, баба-птица» — это было его прозвище; птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своею внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупую плоской головой; при том он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта спускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид. Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала; но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I. Сверх того Брокдорф вовлекал великого князя более, чем когда-либо, в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кордегардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор. Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более, чем когда-либо, в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно приставить к молодому принцу, наследнику великой империи, и что, по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу, или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня сослаться; я сказала ему: «Да», и если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться, и сказала, что знаю и вижу. Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, слушая меня очень серьезно, но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со

своим двоюродным братом Иваном; долго он ничего мне не говорил, потом он мне дал понять, что возможно, что императрица будет со мной говорить. В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого черта: я слишком много выпил вчера и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я кончил, он преследует меня даже в вашей комнате». Цейц мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого «да» или «нет», и дела-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и по мере того, как он читал, я говорила: «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет». Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге: когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла. Дело Элендсгейма осталось в руках Брокдорфа. Но так как Элендсгейм был арестован, Брокдорф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было — удалить его от дел и показать там свое влияние на своего государя. Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент, как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России. Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то есть, что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил о том, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его испросить позволения присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним два-три и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и по мере того, как мы становились старше, она делалась все заметнее. Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу; может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться. Первая ложь, какую великий князь выдумал,

заклучалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей, будто бы, когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его [великого князя] во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбои. Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль. Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали; мало-по-малу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть избалованным ими во лжи, но когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило. Тогда, не колеблясь, он мне ответил: «Года за три или четыре». — «Ну, — сказала я, — вы таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что за три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего 6 или 7 лет, так как вы остались после него одиннадцати лет под опекой моего дяди, Шведского наследного принца, и что меня равно удивляет, — сказала я, — так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в шести-семилетнем возрасте». Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие. Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить, есть ли какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького шести-семилетнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца, ловить цыган. Он замолчал и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но, когда он забыл мои возражения, он все-таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил. Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него, которую я приведу в свое время; мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал и выдавал за факты и в которых не было и тени правды; достаточно, мне кажется, и этого образчика.

С. 192–204.

Любовные делишки великого князя с Тепловой хромали на обе ноги: одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видаться; это было всегда украдкой и стесняло Его Императорское Высочество, который так же не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу масленой эти любовные похождения начали становиться делом партий. Принцесса Курляндская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец двух девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим пятерым детям, держал неумеренные речи насчет великого князя и что он между прочим говорил, что если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость, что для этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для Его Императорского Высочества и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя. Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой Его Императорское Высочество и графиня Мария

Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх; чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала; он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова. Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями, я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курляндскую. Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что, если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты; из опасения от того, что принцесса Курляндская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку: «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят». Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курляндская ответила Его Императорскому Высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил. Но дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя; это была почти «partie carrée», потому что там были только фельдмаршал, Марья Павловна Нарышкина, великий князь, Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалось часть поста и дало повод к другой затее. Дом фельдмаршала был тогда деревянный; в покоях фельдмаршала собирался народ и так как и она и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим эрмитажем, который состоял из двух-трех комнат в первом этаже. Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить, как я уже говорила, без позволения; а благодаря этому распоряжению, было три или четыре кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем как другие не знали, что мы там находимся.

К весне умер Пехлин, министр великого князя по голштинским делам; великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штамбке, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штамбке. В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с тою только разницею, что число голштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, и так как для такого количества не могли найти квартиру в ораниенбаумской деревушке, где вначале было всего двадцать восемь изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе. Но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало пятнадцати-шестнадцати, и так как Его Императорское Высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но множество мещанок весьма дурного общества, которых ему

привозили из Петербурга... Как только я узнала, что певицы и проч. будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большею частью я ела у себя с двумя-тремя лицами. Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком смешанном обществе, и действительно я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без брильянтов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии, но однако она их терпела или по крайней мере не запрещала. Я узнала, что Ее Императорское Величество говорила: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне, она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает со всем сбродом, какой там бывает». Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом, и посадками в нем, остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете, и когда я бывала у себя в комнате, я читала. В июле месяце мы узнали, что Мемель добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме; на нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и Прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии. Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно, что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое, между тем, он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка ораниенбаумским каменщикам и рабочим. Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город¹, где мы заняли Летний дворец. Здесь граф Александр Шувалов пришел однажды вечером сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму. Я отправилась тотчас же в покои графа и графини Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того, как я поцеловала ей руку, а она поцеловала меня, по своему обыкновению, она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу. А тогда уже прошло с лишком восемь месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила Ее Императорскому Величеству, что прошлой зимой, видя поведение Брокдорфа, я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом Ее Императорское Величество; что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему сказала, что если Ее Императорское Величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала, и все, что знаю. Тут я рассказала ей историю Элендсгейма, как она происходила; она, казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, об его приближенных. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и когда сообщила ей о голштинских делах некоторые подробности, показавшие ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: «Вы,

¹ В подлиннике — вставка.

кажется, хорошо осведомлены об этой стране». Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею. Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее, и вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова, так что эта беседа показалась мне скорее своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором. Наконец она меня отпустила так же холодно, как и встретила, и я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала; да и нечем тут было похвастаться. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шуваловы внушили ей против меня. Впоследствии увидят гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною¹. Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такою поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в этих действиях; даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений. Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше его не видела, однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной, все еще находившейся, из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже; тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил не своевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России, под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более, что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая об его отъезде. Граф Бестужев прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждала его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства. Великий канцлер граф Бестужев послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин не ответил мне; между тем отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал Фермор; нам сказали,

¹ Конец вставки.

что он ехал, чтобы занять место в армии; он некогда был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха. Первым делом генерал Фермор потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников или смотрителей над строениями, бригадиров Рязанова и Мордвинова, и с ними он уехал в армию. Это были [такие] военные, которые раньше ничего не делали, как заключали контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозван; а когда он возвращался, он нашел в Четырех-руках¹ распоряжение остановиться там и ждать приказаний императрицы. Долго пришлось их ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утишить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовыми, графом Бутурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых побуждали послы Версальского и Венского дворов начать процесс против Апраксина. Наконец назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался апоплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки. В этом процессе был бы наверное также замешан генерал Ливен; он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина; мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливен был ко мне искренно привязан; но какую бы дружбу я ни питала к Ливену и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распусть слух, что это в угоду великому князю и мне они отступали вместо того, чтобы идти вперед. Ливен иногда давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности; между прочим однажды, когда посол Венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в ту минуту граф Понятовский: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута». Этот анекдот я узнала от самого графа Понятовского, впоследствии короля Польского. Как только генерал Фермор принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо, несмотря на суровое время года, он занял Кенигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758.

В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Нарышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым: он только нехотя приходил ко мне и говорил вещи, который показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке, сестре, графу Понятовскому и всем тем, кто был ко мне привязан. Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы меня наказать за то, что я ему помешала жениться на девице Хитрово, и что, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, которая может стать мне вредной. Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я, и буквально он вел себя как безумный и оскорблял нас, как только мог, без причины, и это в то время, когда я меблировала на свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него не корыстная душа; словом, у него не было причин жаловаться никоим образом; ясно было видно, что он служил орудием тем, кто им завладел. Он более, чем когда-либо, аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала; он простирали невежливость иногда до того, что, когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила, между тем как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями

¹ В подлиннике — Trirouky.

дружбы так же, как и его семью, с тех пор, как я их знала. Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что эта милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни тот, ни другой меня не любит, и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня¹... что как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь, и тому подобный вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посулили орден св. Анны, как знак милости великого князя по отношению к нему. С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели, и его заставили зайти так далеко и даже дальше, чем желали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. Как потом увидят, тогда он старался, как только мог, удалять великого князя от меня, так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елисаветой Воронцовой. К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын Польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам, из которых первой была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснения для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен; вторая причина заключалась в том, что Саксонский дом был на стороне, противной королю Прусскому. Третьей причиной могло быть еще то, что он боялся потерять в сравнении: это значило по меньшей мере быть очень скромным, потому что этот бедный Саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования; кроме охоты и танцев, он ничего не знал, и он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государыня, отличавшаяся большим ханжеством. Принц Карл Саксонский приехал действительно 5 апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна: его сопровождали множество поляков и саксонцев, между которыми был один из Любомирских, один из Потоцких, коронный писарь, граф Ржевусский, которого звали «красивым», двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Браницкий, впоследствии великий гетман, граф Эйнзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память. С ними был своего рода помощник воспитателя, по имени Лашиналь, который руководил его поведением и перепиской. Принца Саксонского поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделан и в который домохозяин вложил весь свой вкус, несмотря на то что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато. В нем было много картин, но большею частью — копии; одну комнату отделали чинаровым деревом, но так как чинара не блестит, то ее покрыли лаком и через это комната стала желтой, но очень неприятного желтого цвета; отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой и, чтобы этому пособить, ее покрыли очень тяжелой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева, так много было на нем резьбы. Граф Иван Чернышев назначен был состоять при Саксонском принце Карле, и содержание его и услуги шли на счет двора и ему прислуживали придворные люди. В ночь накануне дня приезда принца Карла я почувствовала такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше 30 раз ходить на судно; несмотря на это и на схватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять Саксонского принца. Его привели к императрице около двух часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен

¹ В подлиннике — новая вставка.

был войти великий князь. Для этого поставили у одной и той же стены три кресла: среднее было для меня, правое от меня для великого князя и левое для Саксонского принца. Я вела разговор, так как великий князь не хотел почти говорить, да и принц Карл не был разговорчив. Наконец через семь-восемь минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту; с ним было, кажется, больше двадцати человек, к которым присоединились в этот день посланники: польский и саксонский, которые состояли при русском дворе, со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделась, чтобы лечь в кровать, где оставалась три-четыре дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности. В конце апреля мы поехали в Ораниенбаум. До нашего отъезда мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде, чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф, и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал 4 июля. Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня и я не знала этому другой причины, кроме той, что я неласково принимала ни Брокдорфа, ни графиню Елисавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь Его Императорского Высочества праздник в моем ораниенбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение, если сделать это было возможно. Всякое празднество всегда было приятно Его Императорскому Высочеству. Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору, который тогда у меня был, Антонио Ринальди, большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку капельмейстеру Араيه. В саду, на главной аллее, поставили иллюминированную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. 17 июня под вечер Его Императорское Высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и со множеством зрителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминированным; сели за стол и после первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную аллею, и увидели приближающийся издали подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминирована, и так ярко, что различали предметы. Когда колесница остановилась, то, игрою случая, луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество; погода была, кроме того, превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда она окончилась, занавес опустили и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо. Когда его кончали, послышались трубы и литавры, и вышел скоморох, выкрикивая: «Милостивые государи и милостивые государыни, заходите, заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею». С двух сторон декорации с занавесом поднялись два маленькие занавеса, и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные нумера для фарфора, находившегося в ней, а в другой — для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде. Когда лавки были опустошены, мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до шести часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником, и Его Императорское Высочество и все были в восхищении от него, и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник; правда, что я ничего не пожалела: вино мое нашли чудным, ужин отличнейшим, все было на мой собственный счет, и праздник стоил мне от десяти до пятнадцати тысяч; заметьте, что я имела всего тридцать тысяч в год. Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже: утром 17 июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовления;

когда я пожелала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени; а я была уже на четвертом или на пятом месяце беременности; но я и виду не показала и оставалась последней на празднике, занимаясь с гостями. Между тем я очень боялась выкидыша; однако со мною ничего не случилось и я отделалась страхом. Великий князь, все его окружающие, все его голштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник, так как не было ни друга, ни недруга, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне; и так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное и между прочим находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их, хотя в сущности они были неважными, потому что, я думаю, не было ни одного дорожке ста рублей, но их получили от меня и всем было приятно сказать: «это у меня от Ее Императорского Высочества, великой княгини; она сама доброта, она всем сделала подарки; она прелестна; она смотрела на меня с веселым любезным видом; она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять; она рассаживала тех, у кого не было места; она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть; она была весела», словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моею целью; но это было ненадолго, как увидят впоследствии.

С. 207–209.

Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для великого князя, потому что, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и, так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к Его Императорскому Высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору империи». Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом». Эти слова великого князя, сказанный так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидела, что на мой выбор предоставлялись три дороги одинаково трудные: во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасти себя, детей и, может быть, государство, от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственный и физический качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался;

открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства. В октябре месяце я получила от великого канцлера графа Бестужева извещение, что Польский король только что прислал графу Понятовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и Саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте. Он узнал наконец, что это вице-канцлер граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через Прассе, саксонского резидента. Этот Прассе казался часто осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся: он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова графини Анны Карловны, рожденной Скавронской, которая была очень дружна с женою церемониймейстера Самарина, и у этой-то женщины графиня видала Прассе. Канцлер Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понятовскому, и вернул их в Саксонию, под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с 8 на 9 декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславу, так же и графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу. Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой голштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку; он был в полном параде; было около двух с половиной часов утра. Очень удивленная этим одеянием, я спросила его о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг голштинского офицера защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов и так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь. Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет: то, что он говорил, было очень серьезно; я легко догадалась, что он пьян, и посоветовала ему идти спать, чтобы, когда императрица придет, она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног, в голштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела. Мне стоило большого труда заставить его уйти, однако и Владислава, и я, мы его убедили с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец он ушел, и императрица пожаловала. Она спросила, где великий князь; ей ответили, что он только что вышел и не преминет возвратиться. Так как она увидела, что боли замедлялись и так как акушерка сказала, что это может длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего дня, когда встала по обыкновению, чувствуя от времени до времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала. К ужину я проголодалась и велела принести себе ужин; акушерка сидела близ меня и, видя, что я ем с алчным аппетитом, она мне сказала: «Кушайте, кушайте, этот ужин принесет нам счастье». Действительно, поужинав, я встала из-за стола и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула. Акушерка и Владислава подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель; послали за великим князем и за императрицей. Едва они вошли в мою комнату, как я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила императрицу разрешить дать ее имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Ее Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери великого князя. Этот последний, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка; он по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить то же и в Голштинии, и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия. На шестой день

императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ кабинету выдать мне шестьдесят тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что не мало увеличило его удовольствие.

С. 221–222.

Я знала, что русская комедия одна из вещей, которые Его Императорское Высочество всего меньше любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился; но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес: а именно, он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя, но так как она находилась в передней с другими фрейлинами, то там Его Императорское Высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало Его Императорское Высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти выпить к себе в покои. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что, так как я не составляю общества Его Императорского Высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате, или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован. Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату; он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей; я возразила ему, что он напрасно их не любит; он мне сказал, что запретит подать мою карету; я ему ответила, что пойду пешком, и что я не могу взять в толк, какое он находит удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общества, что моя собака да мой попугай. После того, как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты; он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету; тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна, и что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него. Он мне сказал: «А что вы ей скажете?» — «Я ей передам, — возразила я, — как со мною обходятся, а что вы, для того, чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть Ее Императорское Величество; кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю; одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и не любимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро; знайте же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице».

С. 224–225.

Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я; она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения, и когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастьем иметь такого наследника, или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту. В одной из них было такое выражение: «Проклятой мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более»; а в другой она говорила: «племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты; если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то по крайней мере я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв. Когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни, сердце мое было бы открыто великому князю: стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому Его Императорское Высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть, огорчало меня.